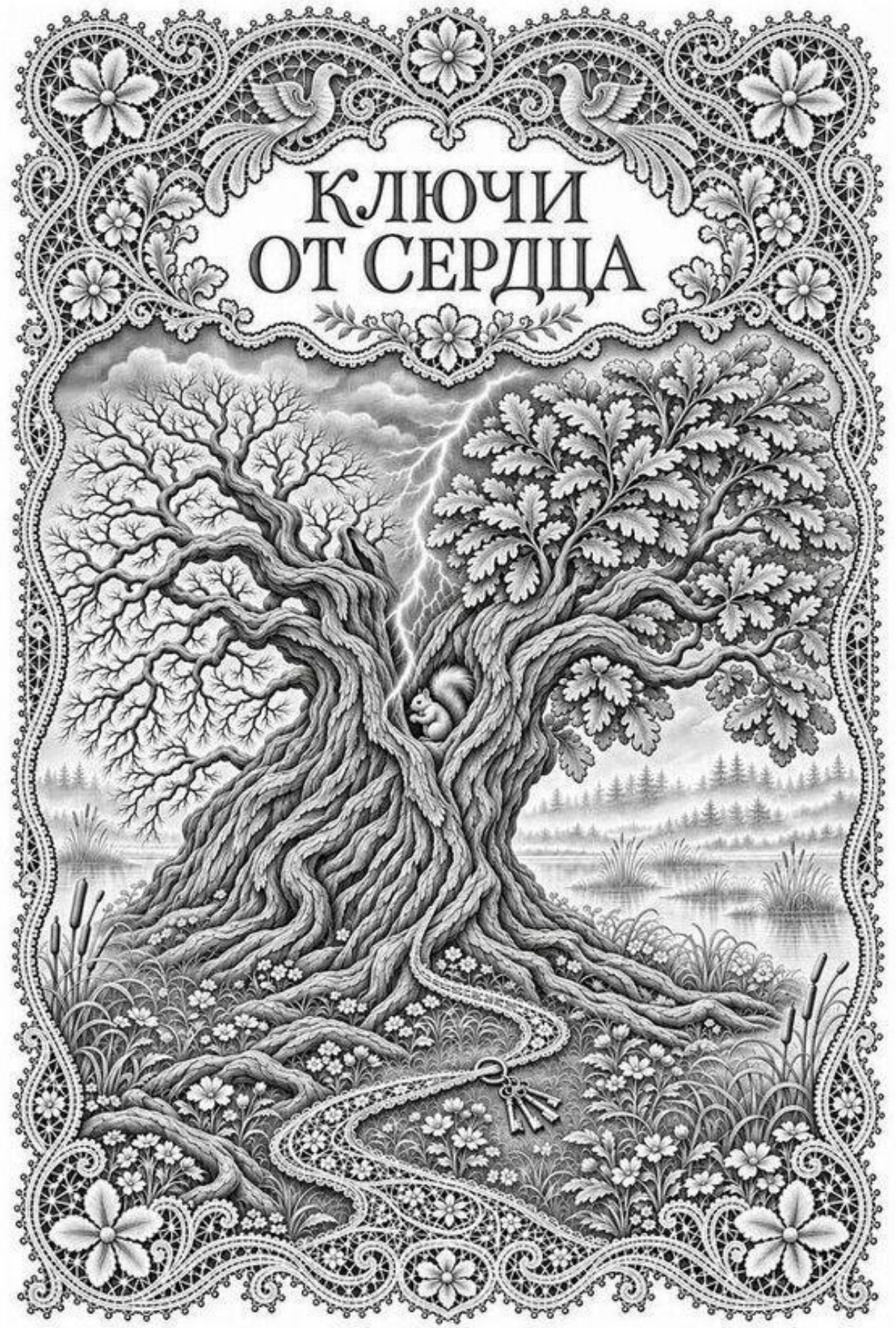
12+

Наталья Титова



Наталья Титова

Ключи от сердца. Роман с чёрно-белыми иллюстрациями

«Издательские решения»

Титова Н.

Ключи от сердца. Роман с чёрно-белыми иллюстрациями /
Н. Титова — «Издательские решения»,

Ведунья Дарина полюбила князя, и время, которое её не трогало, нашло её. Сыну она оставит ключ, выкованный от сердца, а он возьмёт другие ключи, материны, с запертым в них лихом. Дочь уведёт мартаярцев за великие озёра, и девять ночей пути станут девятью историями о том, как запирают зло. Роман о любви, за которую платят временем, и о земле, которая помнит.

© Титова Н.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая. Мартаяр 6
Белая 7
Молочный туман 10
Пыль 13
Копья 16
Стрела 19
Ключи от сердца 21
Олово 24
Часть вторая. Расщеплённый дуб 31
Красная нитка 32
Твердята 37
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Ключи от сердца
Роман с чёрно-белыми иллюстрациями

Наталья Титова

© Наталья Титова, 2026

ISBN 978-5-0071-7430-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Мартаяр



Белая

Старый князь умирал третью неделю и всё никак не мог умереть.

В гриднице говорили шёпотом, и даже собаки на княжем дворе перестали лаять, будто понимали. Знахари приходили и уходили, жгли над ложем полынь, лили воск в воду и мрачно разглядывали вышедшие фигуры. Старик то просил пить, то звал по имени людей, давно лежавших в курганах за рекой, то вдруг садился и смотрел в тёмный угол, где никого не было.

— Не пришла, — говорил он. — Опять не пришла.

Мстивой сидел у отца ночами, потому что днём надо было править. Ему шёл двадцать седьмой год, он уже водил дружину на степняков и судил в сенях тяжбы между купцами, и всё же, глядя на желтоватое, впалое лицо на подушке, чувствовал себя мальчишкой.

Осень в тот год стояла долгая и тихая. Листья с лип на княжем дворе облетели все разом, в одну безветренную ночь, и утром лежали ровным жёлтым кругом под каждым деревом, как стелют под покойника чистое полотно. Река под детинцем потемнела, загустела и текла медленно и устало. Журавли давно ушли на полдень, а одна пара всё кружила над курганами за рекой, кричала и не улетала. Бабы на торгу говорили, что это к покойнику: птица ждёт, кого взять с собой.

— Кто не пришла, отец?

Старик повернул к нему голову. В его глазах была такая ясность, какой Мстивой не видел в них уже много лет.

— Белая. Из Мартаяра. Она отца моего возила. А я… — он закашлялся, долго, страшно. — А я им дань стал просить. Осердилась…

Мстивой знал про Мартаяр так же, как знал про водяного в мельничном омуте и про русалок, что сидят по весне на берёзах: из нянькиных сказок, которые слушал когда-то на печи, замирая от сладкого страха, и которые давно перестал слушать. Деревня стояла в двух днях пути, в лесу за болотами, и никому не кланялась, ни старому князю, ни его отцу. Говорили, что там живут одни ведуньи, что трава там не вянет до Святок, что стрела, пущенная в мартаярскую изгородь, возвращается и втыкается у ног того, кто её пустил. «Бабьи сказки, — думал Мстивой, глядя на отцовы руки, жёлтые, сухие, лежащие поверх одеяла. — Старик бредит тем, чем пугали его самого в детстве. А мне править. Мне нужны не сказки, а железо, хлеб и ратники, которым платят вовремя». И всё-таки, думая так, он отчего-то не мог отвести глаз от тёмного угла, куда смотрел отец.

— Это бред, отец, — сказал он мягко. — Спи.

Старик улыбнулся и закрыл глаза.

Ночь пришла безлунная. Ветер, что весь день тянул с реки, к полуночи лёг, и стало слышно, как далеко за рекой, на болотах, кричит выпь, глухо, как если бы кто-то дул в пустой горшок. Потом замолчала и выпь. Такой тишины Мстивой не помнил: ни собак, ни сторожевой колотушки, ни скрипа ворот. Даже огонь в светце горел ровно, не треща, как горит он в избе перед грозой, которой всё нет.

В ту ночь Мстивой задремал у ложа, и ему показалось, что он слышит копыта по мостовой. Медленные, тяжёлые, как у лошади, которая пришла издалека и больше не спешит. Ворота детинца были заперты, сторожа на веже была на месте, и всё же копыта вошли во двор и остановились у крыльца.

Он открыл глаза.

У ложа стояла женщина. Высокая, в белой неподпоясанной рубахе до пят, в таком же белом плате, из-под которого спускалась седая коса. Лицо у неё было нестарое и немолодое, спокойное, как вода в колодце. Она не смотрела на Мстивоя. Она смотрела на старика.

Мстивой хотел встать, крикнуть стражу, спросить, кто пустил, но тело стало тяжёлым и тёплым, как в детстве после бани. Он мог только смотреть.

— Пришла… — выдохнул старик, и в голосе его была такая радость, что Мстивою стало страшно.

— Пришла, — сказала женщина. Голос у неё был низкий и негромкий. — Долго ты меня ждал. Да и я тебя ждала. Пойдём. Дорога дальняя.

Она наклонилась и положила ладонь старику на грудь, туда, где сердце. И старик сел. Мстивой видел это совершенно ясно: отец сел на постели легко, без стона, как садятся молодые, и спустил ноги на пол. А на подушке при этом осталась его голова с закрытыми глазами.

Отец обернулся на сына у порога. Хотел что-то сказать и не сказал. Женщина взяла его за руку, как берут ребёнка, и они вышли.

Потом копыта прошли по двору обратно, и стало тихо.

Утром сторожа клялась, что ворот никто не отпирал. Только один молодой отрок, стоявший на веже, сказал Мстивою, пряча глаза, что за городом, у реки, видел белую кобылу. На ней была женщина, а позади неё — старик в одной рубахе. И старик всё оглядывался на город.

Утро пришло ясное, первое ясное за много дней, и такое тихое и чистое, что Мстивой, вышедший на крыльцо в одной рубахе, долго не мог понять, отчего у него на душе так легко и так пусто. Иней лёг на крыши и на курганы за рекой, солнце вставало в нём розовое, словно умытое, и над водой курился пар. Журавлиная пара, что кружила над курганами всю осень, снялась и пошла на полдень: сначала низко, над самой водой, потом выше и выше, пока не стала двумя точками в бледном небе, а потом и точек не стало. «Дождались», — подумал он и сам удивился этой мысли, потому что в приметы не верил.

Старого князя спалили на краде за рекой, по старому обычаю, и насыпали над пеплом высокий курган.

Тризну справляли прямо у кургана, на холодной, утоптанной земле. На кострах жарили целые бараньи туши, и жир капал в огонь и шипел, и над рекой стоял такой дух жареного мяса, лука и дыма, что собаки со всего посада сбежались на тот берег и сидели кругом, не смея подойти. Из корчаг черпали мёд, тёмный, густой, старый, ещё дедовский, ставленный в смоляных бочках в год, когда родился Мстивой. Пили из турьих рогов, оправленных серебром, и рог, пока его не осушишь, на стол не поставишь: он не стоит. Первый рог Мстивой не выпил, а вылил на курган, медленно, весь, и земля приняла мёд без следа: земля тоже хотела пить.

Пили три дня. А на четвёртый Мстивой, став князем, собрал старших дружинников и сказал:

— С Мартаяра берём дань. В этом году.

Никто не возразил. Только старый воевода Ратибор, ещё отцов побратим, посмотрел на него тяжело, тем взглядом, каким смотрят на мальчишку, что полез на тонкий лёд, когда кричать ему уже поздно. Мстивой выдержал этот взгляд и не опустил глаз. «Пусть смотрит, — думал он. — Старики всегда боятся того, чего не понимают. А я не боюсь, потому что не верю». Но взгляд этот он запомнил, и вспоминал потом много раз, и каждый раз со стыдом.

К вечеру с полуночи потянуло холодом, а утром выпал снег. Ранний, мягкий, он лёг на свежий курган за рекой, и курган стал белый, как рубаха той женщины.



Молочный туман

Они вышли в полюдье, когда лёг первый снег: сто конных дружинников и обоз с пустыми санями под дань. Мстивой ехал впереди и не слушал, о чём шепчутся за спиной.

Зима легла сразу, без оттепелей. Ели стояли в снегу по колено, лапы у них отвисли под тяжестью, и, когда дружина проезжала мимо, снег срывался с них с мягким вздохом, а ель выпрямлялась, сбросив с плеч ношу, и глядела вслед. Синицы перепархивали за обозом с дерева на дерево и тенькали тоненько, без конца, словно передавали вперёд, по всему лесу: едут, едут! Заяц сидел у самой дороги под кустом, белый на белом, и не побежал. Только повёл ухом.

Дороги на Мартаяр не было. Проводник, старый бортник из пограничного села, вёл их зимником по мёрзлому болоту и всё время трогал сквозь прореху в рубахе что-то на груди. На второй день он остановился у старого дуба с расщеплённой молнией вершиной и сказал, что дальше не пойдёт.

Дуб был так стар, что внизу его не обхватили бы и трое. Молния когда-то ударила ему в самое темя и расщепила надвое, и две половины разошлись в стороны, как две руки, которые держались и разжались. Та половина, что смотрела на княжий город, стояла голая, чёрная, в снегу. А та, что смотрела на Мартаяр, посреди зимы держала свои сухие бронзовые листья и тихо шуршала ими без ветра. Мстивой смотрел на него дольше, чем хотел.

— За дубом их земля, княже. Дальше мне ходу нет.

— Земля тут вся моя, — сказал Мстивой. Но бортника отпустил: дорогу теперь было видно и так. За дубом начиналась тропа, и на ней, среди зимы, не было снега.

Тропа за дубом была мягкая, бурая от прошлогоднего листа, и лист не шуршал под копытами, а проседал, как перина. На орешнике висели и пылили жёлтые серёжки, как в марте. Где-то в чаще коротко и сонно пискнула птица и замолчала. Кони пошли тише и запрядали ушами, а один, молодой, остановился и потянулся мордой к земле, к зелёной траве, как тянутся к воде в жару. И Мстивой, который всю дорогу смотрел только вперёд, впервые огляделся. Лес здесь был другой. Не чужой, нет. Он стоял тут сам по себе, ничей, и терпеливо ждал, когда гости поймут это сами.

Дружина проехала ещё вёрсты три, когда поднялся туман.

Он встал не с болота, как встаёт обычный туман, а сразу отовсюду, из земли и с неба, белый и густой, как парное молоко. Пахло от него тоже молоком, тёплым, домашним, и мёдом, и сушёной мятой. Мстивой перестал видеть уши своего коня. Позади кто-то засмеялся, и смех был сонный, детский.

— Не спать! — крикнул он. — Держаться вместе!

Он слышал свой голос издалека, словно кричал кто-то другой и с другого берега реки. Потом конь под ним вздохнул и остановился. И Мстивой подумал, что закроет глаза только на миг, на один вдох, потому что туман всё равно белый и с закрытыми глазами, и с открытыми…

Разбудили его куры.

Он лежал на спине, в тёплой соломе, и над ним было чистое синее небо. Солнце стояло высоко. Вокруг храпела, сопела и пускала пузыри вся его дружина, в кольчугах и шеломах, прямо посреди деревенской площади. Кони мирно жевали сено из чужих яслей. Перед самым лицом Мстивоя стоял чёрный петух и разглядывал его одним глазом.

Небо было не зимнее: высокое, мягкое, с белыми барашками у края, как в начале лета. Над избами чертили воздух ласточки. Пахло тёплой землёй, дымом и молоком, в черёмухе у плетня гудели пчёлы, а за огородами, в зелёном овсе, перепел выговаривал своё, упрямо и насмешливо: спать пора, спать пора.

Избы были низкие, вросшие в землю по окна, с крышами, поросшими мхом и зелёной, не зимней травой. Из волоковых оконец вились дымки. На кольях ограды белели конские черепа. У колодца сидели три старухи с прялками и смотрели на него без страха, с лёгкой жалостью, как смотрят на пьяного зятя.

Мстивой вскочил. Меча на поясе не было.

— Там он, — сказала одна из старух, не переставая прясть, и кивнула на колодец. — Все там. Не бойся, не заржавеют. Вода у нас добрая.

Он заглянул в колодец. Там, глубоко, в круглом окошке неба, виднелись рукояти мечей, сотня мечей, стоящих в воде стоймя, как стрелы в колчане.

— Кто тут старший? — спросил он, и голос сорвался.

— Старшая не выйдет, — сказала другая старуха. — Она с твоим отцом ещё в дороге. А ты, дитятко, ступай домой. И людей своих буди. Засиделись.

Третья старуха, самая маленькая, молча поднялась, ушла в избу и вернулась с миской. Поставила на колоду перед князем, положила рядом деревянную ложку и ломоть хлеба. В миске была пшённая каша, жёлтая, рассыпчатая, томлённая в печи с утра, и посреди неё таяла лужица топлёного масла. Хлеб был ржаной, тёмный, кисловатый, с хрустящей коркой, ещё тёплый. И ковш кваса, такого холодного, что запотело дерево.

— Поешь, дитятко. С дороги-то.

Мстивой не стал есть. Князь не ест у тех, с кого пришёл брать дань. Но запах этой каши, масла и тёплого хлеба он помнил потом всю жизнь, и ни один повар в его тереме, сколько ни бился, не смог сварить такую.

У одной из изб стояла девушка с ведром парного молока. Над молоком курился лёгкий белый пар, тонкий, словно дыхание спящего, переливался через край, стелился по земле к его сапогам, и пахло от него тем самым туманом: молоком, мёдом и сушёной мятой. Он не разглядел её толком. Он запомнил тёмную косу до пояса, прямые брови и то, что она одна во всей деревне не смеялась, а смотрела на него внимательно, чуть нахмурившись, как смотрят на тучу, гадая, будет ли дождь. «Кто она? — подумал он. — Все смеются, а эта…» И ему вдруг стало так стыдно, как не бывало с тех пор, когда он мальчишкой упал с коня на глазах у отцовой дружины. Стыдно не за себя, а за то, что она видит его таким: в соломе, без меча, с куриным пухом в волосах.

Мечи доставали до вечера, кошкой на верёвке. Ни на одном не было ржавчины. За дубом с расщеплённой вершиной дружина снова оказалась в зиме, и всю дорогу домой никто не сказал ни слова. Только у самых ворот города молодой дружинник вдруг фыркнул, и вся сотня расхохоталась так, что со стен сорвались вороны. Смеялись все, кроме князя.

Мстивой потом уверял себя, что их опоили: в тумане была сон-трава, или болотный дух, или деревенские подсыпали зелья в конский корм. Он говорил это Ратибору, и дружине, и самому себе по ночам, и почти верил. Но каждый раз, засыпая, он слышал запах парного молока, видел белый пар над ведром и девушку, которая не смеялась, и тогда ему становилось уже не стыдно, а тревожно и сладко, будто он забыл в той деревне что-то своё и непременно должен вернуться.



Пыль

Во второй раз Мстивой пошёл летом, в самую сушь, когда болота обмелели и туманам неоткуда было взяться. Взял две сотни. Взял священника-грека, который приехал с купцами и жил в посаде, не потому, что верил его Богу, а потому, что грек не боялся ведуний и над страхом дружины смеялся. Сам Мстивой не спал две ночи накануне, чтобы устать и не видеть снов.

У расщеплённого дуба грек перекрестил дорогу, и они проехали.

Дуб в то лето был не похож на себя. Листья на нём стояли седые от пыли, жёсткие, сухие, с ржавым краем, будто дереву за одну ночь прибавилось сто лет. Кора потрескалась глубоко, как кожа на стариковских руках. А на нижнем суку, над самой тропой, висела белая паутина, длинная, как седая борода. Мстивой проехал сквозь неё и потом долго снимал её с лица, а она всё не снималась.

Тумана не было. Была жара, густая и безветренная, и пыль. Пыль была всюду: на тропе, на листьях, на конских гривах, серая и тонкая, как мука. И чем дальше они ехали, тем гуще она лежала.

В лесу было тихо, как в пустом доме. Не пели птицы, не стучал дятел, не звенели комары, хотя комарам в такую пору самое время. Листья на берёзах висели вялые, вывернувшись к небу изнанкой, тусклой и серебристой, как выворачиваются они перед долгим ненастьем. Но небо было пустое и белое от жары, и ненастья не было. Только на старой сосне у тропы сидел ворон и смотрел, как они едут, повернув голову набок. Мстивой проехал под самой веткой, и ворон не взлетел. Он проводил дружину глазом и переступил по суку, как переступает старик на завалинке, которому спешить некуда: всё равно вернутся.

Мартаяр был пуст.

Избы стояли те же, вросшие в землю, только мох на крышах высох и поседел. Двери были открыты. Колодец был сух, и на дне его лежала пыль. В избах на столах стояли миски, и в мисках была пыль, и прялки стояли с недопряденной куделью, серой от пыли. Казалось, что люди ушли отсюда сто лет назад и слишком торопились, чтобы что-то взять.

— Ушли, — сказал Ратибор. — Услышали и ушли в лес.

— За неделю такой пыли не наберётся, — ответил Мстивой.

И тут они увидели мальчика.

Он сидел на бревне у самой крайней избы, лет семи, босой, в длинной рубашонке, и чертил палочкой в пыли круги. Волосы у него были светлые, почти белые, и только на них одних во всей деревне не было пыли. На шее, на красной нитке, висело что-то маленькое и тёмное.

Услышав коней, мальчик поднял голову и посмотрел прямо на Мстивоя. Глаза у него были серые, светлые, и Мстивой отчего-то знал, что уже видел такие глаза. В воде. В начищенном щите. Свои.

— Ты чей? — спросил он.

Мальчик не ответил. Он снова наклонился над своими кругами, дорисовал последний и сказал, не поднимая глаз:

— Рано ты. Ещё не время.

И встал, и ушёл за избу. Когда двое отроков кинулись за ним, там была только пыль, и на пыли не было следов.

И сразу, словно мальчик унёс его с собой, по деревне прошёл ветер, первый за весь день. Он поднял с тропы пыль маленьким вихрем, покрутил его у колодца, как пряха крутит веретено, и опустил на то самое бревно. Кругов на земле не стало.

Назад ехали долго. Дольше, чем туда. Сначала Мстивой заметил, что у Ратибора совсем белая борода, и решил, что это пыль. Потом увидел, что молодой Путята, самый весёлый в дружине, сидит в седле сгорбившись и в углах глаз у него глубокие морщины. Потом грек уронил крест и не смог нагнуться за ним, потому что у него тряслись руки, как у старика.

А лес вокруг жил как ни в чём не бывало. Только теперь Мстивой видел то, на что прежде не смотрел никогда: как у берёзы на опушке сохнет верхушка, как из гнилого пня лезет молодая осинка, как муравьи тащат куда-то сухую стрекозу. Всё в лесу старело и всё росло, сразу, в одно и то же время. Лес их не жалел и над ними не смеялся. Он просто показывал.

К городу они подъехали на закате. Две сотни седых, сгорбленных, кашляющих людей на уставших конях. На веже их не узнали и не хотели открывать ворота. Мстивой снял шелом, и только тогда, по тому, как сторожа шарахнулась от стены, понял, что и сам он стар.

Старость сходила с них три дня, день за днём, как сходит загар. К третьему вечеру все снова были молоды. Все, кроме грека: тот так и остался седым, постригся в монахи и к зиме уехал на родину.

А Мстивой всё то лето вспоминал мальчика с белыми волосами, с его, Мстивоя, глазами и красной ниткой на шее. «Рано ты», — сказал мальчик, и Мстивой возвращался к этим словам снова и снова, поворачивал их так и эдак, словно непонятную находку, и не мог понять, почему вспоминает их не со страхом и не со злостью, а с тоской, тихой и долгой, какая бывает по дому, в котором ты никогда не жил. «Рано для чего? — думал он по вечерам на стене детинца, глядя в сторону болот. — И когда же будет не рано?»



Копья

В ту осень с полудня пришли печенеги.

Они жгли сёла по степной окраине и уводили людей, и каждую неделю в город прибегали чёрные от дыма мужики с детьми на руках. Мстивой собирал дружину и ополчение.

Осень в тот год была сухая и красная. Рябина уродилась так, что ломались ветки, и старики качали головами: к долгой зиме и к большой крови. По ночам над степной окраиной стояло зарево, и непонятно было, то ли не догорел закат, то ли горят сёла. Гуси шли на полдень низко, тревожно, и не садились на реку, где садились всегда.

Ратибор пришёл к нему ночью, один.

— Пошли в Мартаяр, княже. Не за данью. Спросить.

— Спросить? У баб за болотом?

— Твой отец спрашивал. И дед. Каждый раз перед большим походом. Ты не знал, а я возил гонцов. Потому и дани не брали. Их дань — не мёд и не меха.

Мстивой помолчал. Потом сказал, чтобы Ратибор послал гонца, и пусть гонец усмехается, когда будет спрашивать. Так, чтобы видели: князь не верит.

У расщеплённого дуба гонец остановил коня. Дуб стоял в осеннем золоте, тяжёлом и тёмном, и с него стучали о землю жёлуди. А в коре на живой половине, на высоте конного плеча, торчала старая стрела, совсем вросшая, с чёрным оперением. Кора вокруг неё заплыла и затянулась, как затягивается рана. Гонец готов был поклясться, что зимой, когда ездил здесь с бортником, никакой стрелы в дубе не было.

Гонец спешился у колодца и не стал подходить ближе, будто земля Мартаяра могла укусить. Деревня была живая: пахло дымом и сушёными травами, стучали на гумне цепа, дети гнали гусей к воде. Кто-то позвал Дарину.

Она вышла из избы, вытирая руки фартуком. Та самая, с ведром, только гонец этого не знал. Тёмная коса, прямые брови, лицо, на котором не понять, сердится она или думает. На поясе позвякивала связка ключей, и гонец удивился: что можно запирать в деревне, где все двери настежь?

— Князь спрашивает, — сказал он и усмехнулся, как велели. — Идти ли ему на степь.

Дарина не ответила. Она сходила за околицу и вернулась с кобылой. Кобыла была белая, без единого тёмного волоса, и шла за ней сама, без узды. Гонец попятился. Про эту кобылу рассказывали у костров, что её никто не седлает, кроме старшей ведуньи, и что по ночам она возит тех, кому пришло время, и по утрам стоит в мыле и в болотной грязи.

Мальчишки уже воткнули у ворот три пары копий, крест-накрест, одну за другой. Дарина положила кобыле ладонь на шею и что-то сказала ей тихо, как говорят ребёнку.

Кобыла постояла. Подняла голову, посмотрела на гонца по-человечески, так что у него пропала усмешка. И переступила первое копьё левой ногой.

И в тот же миг с берёзы у ворот, хотя ветра не было, сорвалась целая горсть жёлтых листьев и медленно закружилась над копьями, как кружится пепел над крадой. Один лист лёг гонцу на плечо. Он стряхнул его, как стряхивают уголь.

Никто в деревне не сказал ни слова. Замолчали цепа на гумне. Дарина сняла руку с конской шеи.

— Передай князю: пусть сидит дома. За стенами. Пусть воеводу пошлёт, а сам не ходит.

— А если пойдёт?

Она посмотрела на гонца так, что тот пожалел о вопросе.

— Тогда пусть везут его сюда. Не в город. Сюда.

Мстивой выслушал гонца и рассмеялся. Он смеялся дольше, чем надо было, и громче, чтобы слышала вся гридница. А на рассвете сам повёл дружину в степь.

А Дарина до вечера стояла у копий и смотрела на дорогу. Она знала, что он не послушает, знала это ещё зимой, когда увидела его в соломе, растерянного, злого, с куриным пухом в волосах, и всё равно стояла и смотрела, будто дорога могла передумать за него. «Глупый, — думала она. — Гордый и глупый. И пойдёт. И привезут». От этой мысли ей было не горько, а страшно, потому что под страхом, на самом дне, лежало что-то тёплое, чего она в себе никогда не знала и не хотела знать. Мать вышла к ней, вся в белом, и встала рядом.

Солнце садилось за болота, большое, тусклое, медное, и туман у края леса стоял розовый, как разбавленная кровь. Над деревней тянули последние журавли и кричали, и крик их не затихал: они звали кого-то с собой и не могли дозваться. Дорога темнела, уходила в лес, и лес смыкался над ней, как смыкается вода над брошенным камнем.

— Ты его видела, — сказала мать. Это был не вопрос.

— Видела. Зимой. Он лежал в соломе и смотрел на петуха. Глупый.

— Глупый, — согласилась мать. — И пойдёт. И привезут. Ты знаешь.

— Знаю.

— И знаешь, чего это тебе стоить будет.

Дарина не ответила. Кобыла тихо тронула её губами за плечо, как жалеют.

Чего это стоит, в Мартаяре знала каждая девочка, да вслух об этом не говорили.

Ведуньи не старели так, как стареют люди. Время шло мимо них, как река мимо камня: обтекало, шумело, а камень оставался тем же. Белая была такой же, сколько помнили её самые старые люди в городе, нестарой и немолодой. Дарине на вид было лет двадцать, и двадцать ей было и десять лет назад. Детей ведуньи рожали, и от кого, в Мартаяре не спрашивали. Но рожать и любить не одно и то же.

Если ведунья полюбит, время её находит. Оно входит туда же, куда любовь, через сердце, и с того дня она живёт как все: стареет, болеет, ждёт. И стареет она не ровно, по году в год, а разлукой. Рядом с тем, кого любит, цветёт. Без него вянет, как трава без дождя.

Три старухи с прялками у колодца когда-то были такими же, как Дарина. Одна полюбила охотника, другая купца с реки, а третья, самая маленькая, сама не знала кого: увидела раз всадника на том берегу и ждала его шестьдесят лет. Потому они и старухи.

Была и четвёртая, которой давно уже нет, и о ней старухи вспоминали неохотно, понизив голос. Её любимый, сотник из города, клялся ей на хлебе и на земле, а через год позвал в свой дом другую. И в сердце ведуньи, туда, куда прежде вошла любовь, вошла злость, чёрная и горькая, как вода из болотного окна. А злость не умеет лечить. Туман перестал её слушаться, травы вяли у неё в руках, коровы от её слова не выздоравливали, а заболевали, и белки больше не прыгали ей на плечи. Сила уходила из неё, как вода из треснувшего горшка, по капле, и за одну зиму ушла вся. Доживала она в Мартаяре простой бабой, пряла и не смотрела на дорогу. Измена ведунью не убивает. Измена делает её обыкновенной.



Стрела

Печенегов они настигли на шестой день, у брода через степную речку, и поначалу всё шло так, как Мстивой задумал. Степняки не ждали дружины так далеко от города. Они бросили полон и поскакали к воде, и над степью поднялась такая пыль, что солнце стало рыжим.

Степь в ту осень пахла горько, полынью и гарью. Ковыль стоял седой, по брюхо коню, и ходил под ветром волнами, серебряными на свету и тёмными в тени, так что казалось, по степи бегут невидимые табуны. Небо над ней было огромное и пустое, и только в самой вышине, не шевеля крыльями, плавал орёл. Он висел над дружиной шестой день. Молодые показывали на него друг другу и говорили, что орёл ведёт их к победе. Ратибор смотрел на него и молчал. Он знал, что орёл в степи плавает не над теми, кто победит, а над теми, кто ляжет.

Он не видел, откуда прилетела стрела. Почувствовал только толчок в левое плечо, небольшой, словно кто-то тронул его сзади, чтобы обернулся. Оборачиваться было некогда. Он рубился до тех пор, пока не понял, что левая рука уже не держит щит, а щит лежит в траве далеко позади.

К вечеру печенеги ушли за реку, оставив полон и обоз. Стрелу вытащили при костре. Наконечник остался в ране: железный, чёрный, с зазубринами. Старый дружинник, видевший на своём веку много ран, понюхал древко и побледнел.

— Отрава, — сказал он тихо Ратибору. — Степная. От неё не лечат.

К ночи плечо распухло и почернело. К утру Мстивой перестал узнавать людей. Он звал отца, и тот стоял у костра в одной рубахе, молодой и печальный, и ничего не говорил. А за ним, далеко в степи, белела лошадь.

Ночь над бродом стояла душная, без ветра. Кузнечики в траве трещали так громко и ровно, что вся степь звенела одной туго натянутой струной. А перед рассветом они оборвались все разом, и стало слышно, как дышит князь: коротко, с хрипом, всё реже.

Ратибор сидел у княжеского изголовья и слушал. Потом встал и велел возить князя не домой.

— В Мартаяр, — сказал он. — Как велели.

Дружина зароптала. Тогда Ратибор вынул меч и сказал, что сам ответит перед князем, если будет перед кем отвечать. И что тот, кто скажет слово поперёк, сам повезёт в город тело.

Их ждали у расщеплённого дуба. Дарина стояла на тропе одна, в тёмном платке, с узлом в руках, словно знала и день, и час, а она и знала. Она подошла к носилкам, откинула плащ и посмотрела на чёрное плечо, и лицо у неё не дрогнуло, хотя внутри всё оборвалось и полетело вниз, как летит камень в колодец. «Вот и привезли, — подумала она. — Как мать сказала. Гордого, глупого. Моего». И это последнее слово пришло само, без спросу, и она не успела его прогнать.

День был тихий и серый. С берёз у дуба бесшумно падал мелкий лист, и на тропе лежал первый иней, тонкий, как соль. А за дубом, на мартаярской стороне, иней уже стаял, и тянуло оттуда тёплой баней, мятой и мёдом, как из открытой двери в мороз.

Дуб над ней стоял тихий, в ржавой листве, и стрелы в коре больше не было: на её месте темнела свежая дыра, из которой сочился сок, как из раны, когда вынесешь железо. Когда носилки поравнялись с дубом, сверху сорвался один жёлудь, последний в ту осень, и упал Дарине прямо в ладонь. Она посмотрела на него, и губы у неё дрогнули. Потом она сжала кулак и сунула жёлудь за пазуху.

— Дважды его уже возили обратно, — сказала она. — Третий раз не повезут. Несите в избу.

И пошла вперёд, не оборачиваясь, и дружинники, сами не зная почему, пошли за ней.



Ключи от сердца

Наконечник Дарина вынула в первую же ночь. Не ножом. Она долго держала ладонь над чёрным плечом, не касаясь, и тихо говорила что-то неразборчивое, пока железо само не вышло из раны и не легло ей в руку, тёплое, в чёрной крови. Князь не проснулся. Ему не стало лучше.

— Железо вышло, — сказала она Милуше, которая держала лучину. — А смерть осталась. Её так не вынешь. Её запереть надо.

Она обтёрла наконечник полотном, завернула в лист лопуха и передала Милуше.

— Отнеси Твердяте. Скажи: пусть куёт из него ключ. Под олово. Большой, с тяжёлым кольцом, а бородка сложная, такая, чтобы вошла в тот замок. Он знает какой. И чтобы к утру.

Милуше было семнадцать. Она была сиротой из сожжённого села, и Дарина подобрала её на пожарище пять зим назад, как подбирают птенца. Ведуньей она не стала, да и не хотела. Она хотела смеяться, танцевать в кругу на Купалу и не думать о смерти. А ещё она боялась только одного человека в Мартаяре, и теперь ей надо было идти к нему ночью.

Кузница стояла за деревней, у ручья, как и положено, потому что кузнец одной ногой стоит среди людей, а другой где-то ещё. Из двери падал на траву красный свет. Пахло окалиной и мокрым углём.

Ночь была звёздная, морозная, первая такая в ту осень. Ручей у кузницы ещё не замёрз, но говорил уже по-зимнему, глуше, будто из-под тонкого стекла. Над лесом низко горели Стожары, яркие, рассыпанные, как угли из горна. Милуша шла по мёрзлой траве, и трава хрустела под ногами так громко, что ей казалось, это стучит её сердце и его слышно на всю деревню.

Твердята стоял у горна без рубахи, в кожаном переднике, и спина его блестела, как мокрый камень. Он был немолод, лет тридцати, с рыжей опалённой бородой и старым ожогом через всю щёку. Руки у него были такие большие, что в деревне говорили, будто он медведя переборол. А ещё говорили, что он может сковать змею язык и что сам леший приходит к нему подковать козла.

Он обернулся и увидел её в двери. Милуша заметила, как он поправил передник, неловко, как мальчишка.

— Дарина прислала, — сказала она и протянула свёрток.

Твердята развернул лопух, посмотрел на наконечник и сразу перестал быть мальчишкой.

— Степное, — сказал он. — Из князя?

— Из князя. Она велела ключ. Под олово. Большой, чтобы смерть в нём уместилась, и чтобы вошёл в тот замок. И к утру.

Твердята кивнул и положил наконечник в угли. Он не сказал ей уходить, и Милуша осталась. Она села на чурбак у двери и смотрела, как он качает меха, как железо из чёрного становится вишнёвым, потом жёлтым, потом белым, как солнце в полдень. Как молот падает раз за разом, и с каждым ударом от железа летят искры, а от неё, Милуши, уходит страх.

— Ты меня боишься, — сказал он, не оборачиваясь.

— Все боятся.

— Все боятся огня. А ты меня. Это разное.

Он вытянул из железа тонкий прут, свернул его в кольцо, тяжёлое, большое, с ладонь, и стал делать бородку: мелкие зубцы, завитки, прорези, сложнее, чем кружево на праздничном рушнике. Стержень он оставил полым.

— Это для олова, — сказал он, заметив, что она смотрит. — Она будет лить сама. Над ним. И пока олово жидкое, она вливает туда беду. А как застынет, беда заперта. Много я их ей перековал. А до меня отец мой ковал, и ей, девчонкой, и матери её. А бабке её ещё дед мой. Всего их семьдесят два, я как-то считал. Они у неё в ларце лежат, по роду собранные, от старшей к старшей. А самые страшные она при себе носит, на поясе, чтобы ни на час с глаз

не упустить. Их девять. Не все она сама запирала, да не в том дело, чьи. Страшнее этих нет, вот она их и носит. Этот десятым будет.

— Девять, — повторила Милуша. Она видела эту связку тысячу раз, на поясе у Дарины, и никогда не считала.

— У деда нашего старосты была лихорадка, что всю деревню выкосить бы могла. Она там. У вдовы с дальнего конца была тоска такая, что в петлю полезла. Тоска там. У пастуха была злоба на брата, до ножа дошло. Злоба там. Да порчи, да зависти, да что похуже. И мор там сидит, что на нас при деде нынешнего князя шёл: его ещё бабка её запирала. Всё там, в тех девяти. Самое лихое, что за сто лет на нашу землю ходило.

Он опустил ключ в воду, и вода зашипела, как живая.

— А замок? — спросила Милуша. — Она сказала, ты знаешь какой.

Твердята немного помолчал.

— Замка я не видел. Никто не видел. Бабка моя говорила, что он не в дереве и не в железе, а во времени. Замок времени. Я делаю бородку, как руки ведут. Руки знают.

Он вынул ключ из воды, обтёр о передник и положил на наковальню. И вдруг сказал другим голосом, низким, словно не своим:

— И горе тому, кто эти ключи найдёт и отопрёт раньше срока. Всё, что там заперто, на него выйдет. Страшна будет его судьба. И тех, кто его узнает. Не буди лихо, пока оно тихо.

Милуше стало холодно, словно за дверью разом встала зима. «Страшно-то как, — подумала она. — И его страшно, и слов его, и того, что в ключах. А уйти не могу». Она не заметила, как поднялась с чурбака, подошла и положила ладонь ему на мокрую спину, словно чтобы удержаться на краю. Спина была горячая, печная, живая, и холод отступил, и страх отступил, и осталось только то, о чём в Мартаяре девушкам рассказывают на Купалу, а Милуша никогда не верила, что это бывает и с ней.

Твердята не шевелился. Потом повернулся к горну, чтобы сгрести угли, и Милуша вдруг увидела: в самом жару, на дне, там, где плавилось железо, дрожала одна светлая капля, будто кто-то уронил в огонь слезу.

— Осталось, — сказала она шёпотом. — Смотри.

Твердята наклонился и всмотрелся. Потом подцепил каплю клещами, положил на наковальню и ударил по ней раз, другой, совсем легко, боясь сделать ей больно. Он ничего не придумывал, руки шли сами. Из-под молота вышел ключик, маленький, простой, без всяких завитков, с колечком не больше ноготка. Колечко получилось не совсем круглое: сверху вмятина, снизу остриё. Твердята потрогал его пальцем и тихо засмеялся.

— Руки знают, — сказал он. — Большой от беды. А этот не от беды. Сердце вышло. Этот от сердца. Так ей и скажи.

Он передал оба ключа Милуше, и их пальцы встретились, и никто не убрал руки первым.

Потом он выкатил кочергой из золы у горна две репы, чёрные, обугленные, разломил одну голыми руками, не обжигаясь, и протянул ей половину. Внутри репа была золотая, мягкая, и от неё шёл сладкий пар. Он посолил её щепотью крупной серой соли из берестяного туеска, и Милуша ела, дуя на пальцы, и смеялась, и не могла понять, отчего простая печёная репа в кузнице вкуснее мёда.

До рассвета было ещё далеко. А рассвет в ту ночь, как потом рассказывала Милуша своим детям, пришёл раньше, чем обычно, потому что она его не ждала.

Он пришёл с востока розовой полосой над лесом, и полоса росла, и одна за другой гасли Стожары. Иней у ручья засверкал. С ольхи тяжело, лениво снялась ворона. Ручей зашумел громче, словно сам удивился, что уже утро. А в кузнице, где ещё тлели угли, двое сидели у остывающего горна, смотрели на розовый свет в двери и не хотели, чтобы он входил.



Олово

Дарина взяла ключи из рук Милуши и ничего не спросила, хотя сразу увидела и сияющие глаза, и сажу на ладони. Большой ключ она взвесила на ладони и кивнула: такой и нужен. А когда увидела маленький, с колечком, вмятым сверху и острым снизу, лицо её на миг стало совсем девичьим, испуганным.

— Что он сказал?

— Сказал: этот не от беды. Этот от сердца.

Дарина кивнула, как кивают, когда сбывается то, чего давно боялись.

Олово она плавила в глиняной ложке на углях, прямо у княжего изголовья. Олово было серебристое, спокойное и, расплавившись, стало похоже на жидкое зеркало. Дарина положила левую ладонь на чёрное плечо, а правой подняла ложку над большим ключом, и стала говорить.

Милуша потом не могла вспомнить ни одного слова. Помнила только, что слова были очень старые и очень простые, как слова матери, которая даёт ребёнку наказ жить по правде. И что чернота с плеча стала ползти под ладонь Дарины, а по её руке вверх, к плечу, к сердцу, и дальше, по другой руке, к ложке. Олово темнело.

А потом чернота остановилась у сердца и притихла, и Дарина стала белая, как полотно. Милуша поняла, что смерть не идёт дальше, потому что ей в одиночку не хочется. Ей нужно что-то взять с собой.

— Бери, — сказала Дарина вслух, обычным голосом, и закрыла глаза. — Бери своё.

Олово стекло в полый стержень одной тяжёлой светлой каплей, и ключ зазвенел, тонко, как от удара. Дарина повесила его на пояс, к остальным, десятым.

А потом взяла маленький ключик, положила его себе на грудь, туда, где сердце, и держала так долго, что Милуша задремала у печи. Когда она отняла руку, ключик был тёплый. И с тех пор уже не остывал.

Князь открыл глаза на третий день. Над ним был низкий закопчённый потолок, пучки трав на жердях и лицо. Та самая, с ведром, и сейчас она тоже не смеялась. Волосы у неё у виска были седые, одна прядь, и Мстивой не помнил, была ли она раньше.

— Ты меня отравила, — сказал он хрипло. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. — Тогда, зимой. Туманом.

— Тебя печенег отравил. А туманом тебя усыпили, чтоб ты дожил до печенега, — сказала она. — Пей.

Он выпил, потому что сил спорить не было. А потом, когда силы появились, спорить уже не хотелось.

Он лежал и слушал. Сначала только то, что за стеной: как шуршит в соломе крыши ветер, как бродят куры, как по утрам поёт в соседней избе прялка. Потом, когда стал выходить на крыльцо, то, что дальше. Мартаяр звучал не так, как город. Здесь не кричали. Здесь по вечерам со всех сторон начинали говорить деревья, и каждое на свой лад: дубы глухо и редко, как старики, берёзы мелко и торопливо, а осины без умолку, даже когда ветра не было. Дарина сказала, что осина болтает, потому что боится. Мстивой засмеялся. А на другой день поймал себя на том, что стоит под осиной и слушает, пытаясь понять, чего она боится.

Кормили его, как кормят больного ребёнка. Сперва только овсяным киселём: Дарина заводила его с вечера в деревянной квашне, на тёплой воде и корке ржаного хлеба, и к утру он поднимался, кислый, пахнущий хлебом и летом, а она варила его в горшке, пока не загустеет, и давала князю тёплым, с ложкой мёда сверху. Потом пошла уха из карасей, с луком, прозрачная, золотая от жира. Потом каша из полбы с конопляным маслом. Потом творог с мёдом и печёная репа. А когда он впервые сел за общий стол, ему дали, как всем, деревянную ложку из светлой берёзы.

Ели все из одной большой миски, по очереди, по старшинству. Первой черпала старшая старуха, за ней старухи помоложе, потом бабы, потом дети. Князь, по привычке своего стола, где ему подавали первому, полез ложкой в миску раньше всех. И получил ложкой по лбу, не больно, но звонко, на всю избу, от самой маленькой старухи. Дети прыснули. Дарина отвернулась к печи, и плечи у неё тряслись.

Хлеб тут никогда не резали ножом. Старшая брала каравай, прижимала к груди и ломала руками, и первый кусок клала не себе, а за печь, в тёмный угол. Для хозяина, сказала Дарина, когда он спросил. Какого хозяина? Того, кто тут жил раньше нас и будет жить после. И Мстивой, который смеялся над всем этим ещё месяц назад, на этот раз почему-то не засмеялся.

Он прожил в Мартаяре до санного пути. Ратибор с дружиной стоял у расщеплённого дуба, и дальше дуба его не пускали. Князь сначала сидел на лавке, потом стал выходить на крыльцо, потом до колодца. И смотрел. На старух, которые заговаривали коров от зверя и пели над тестом, чтобы хлеб поднимался. На детей, которые не боялись его меча. На кузнеца Твердяту, который по вечерам проходил мимо избы и слишком долго смотрел в окно, за которым сидела с прялкой Милуша. И на неё.

Ночи в ту осень стали длинные, и они говорили. Дарина пряла у светца, князь лежал на лавке под медвежьей шкурой, за стеной шуршал по соломе мелкий дождь, а в печи переговаривались угли, и разговор у них шёл так же, как у углей: то вспыхнет, то затлеет, то снова займётся от одного слова.

— Кто держит мир? — спросил он однажды. Спросил так, как спрашивал на суде, чтобы поймать. — У нас говорят: землю держит князь, князя держит Бог. А у вас кто?

— Никто, — сказала Дарина, не поднимая глаз от кудели. — Его не держат, княже. Он сам держится. Как роща. Ты видел, как старый дуб падает? Он не падает сразу. Соседи держат его ветками и корнями, пока он не ляжет мягко. Так и всё. Река держится за берег, берег за корни, корни за дождь, дождь за небо. А человек думает, что это он всех держит. Ему так спокойнее.

— А Бог? Греческий. Ты в него веришь?

— Я его не знаю, — просто сказала она. — Он пришёл недавно, из-за моря, а земля старая. Гостя не гонят и над гостем не смеются. А земля нам всем мать. Мать сыра земля, так и бабки говорят. Мать не спрашивает, какому богу ты молишься. Она спрашивает, с чем ты к ней пришёл: с чистыми руками или с грязными.

«Странно, — думал Мстивой, глядя, как ходит в её пальцах веретено. — Грек в посаде говорит мне о Боге час, и мне скучно. А эта говорит о дожде и корнях, и мне не хочется, чтобы она замолчала».

— А смерть? — спросил он в другую ночь, совсем тихо, как спрашивают дети. — Я видел, как ушёл отец. Куда он ушёл?

— Домой. Смерть не яма, княже, смерть дорога. Кто жил по правде, тот идёт по ней прямо, и его везут. А кто жил криво, тот идёт долго, кругами, пока сам не выпрямится. Мать моя возит тех, кто прямо. Потому её и ждут.

— А дань? — усмехнулся он, чтобы не показать, как ему стало не по себе. — Это тоже про то, как мир держится?

— Тоже, — сказала она и впервые за весь вечер посмотрела на него. — Земля никому не платит, княже. Ни дождь, ни лес, ни река. Им самим платят: хлебом за печью, первым снопом, первым рогом на курган. Ты же сам вылил мёд отцу на могилу.

Он хотел спросить, откуда она знает про мёд, и не спросил. За оконцем дождь стих, и стало слышно, как падают со стрехи тяжёлые капли, редко, с долгими перерывами, словно кто-то считал и никак не мог сосчитать.

В ту осень он увидел, как Мартаяр провожает лето. Лето за дубом держалось дольше, чем во всей округе, и жали здесь позже всех. Последнюю полосу овса жали всей деревней, бабы

в белых рубахах, девки в венках из васильков, и пели так, что слышно было до самого дуба. А посреди полосы оставили несжатым пучок стеблей, связали его красной ниткой и пригнули к земле, как кланяются. «Это бороду завили, — сказала Дарина, когда он спросил. — Земле оставили. Она нас кормила, теперь пусть сама поест». Последний сноп старшая старуха нарядила в рубаху и платок, и его несли в деревню на руках, с песней, как несут невесту, и поставили в избе в красный угол, на лавку, до весны.

Вечером у колодца горели костры, на столах стояли новый хлеб, каша из нового зерна, мёд, печёная репа, и дети носились между столами с куклами в руках. Мстивой пригляделся к куклам. Все они были маленькие, с ладонь, из лоскутов и ниток, и ни у одной не было лица.

— Почему без лица? — спросил он.

— Чтобы чужое не вселилось, — сказала Дарина. — Пустое лицо всякий займёт. А так кукла своя, домашняя. — Она села рядом с ним на бревно, вынула из рукава лоскут небелёного льна, клок кудели и нитку и стала крутить, быстро, не глядя, как прядут. — И ножом их не режут, и иглой не шьют. Только мотают и вяжут. Что связано, то держит. Что резано, то болит.

Он смотрел, как в её пальцах из ничего рождается человечек: голова, руки, подол. Она объяснила, не поднимая глаз, что в Мартаяре кукол дарят на всё. Новорождённому, чтобы сон берегла. Девочке, когда первый раз сядет за прялку. Тому, кто уходит в дорогу. Больному: кукла заберёт хворь, а потом её отнесут в лес. А бывает и так, что кукла вместо слов: поссорятся сёстры, и бабка подарит им одну куклу на двоих, и пусть делят, как хотят, пока не помирятся.

— А это кому? — спросил он, когда она затянула последний узелок.

— Тебе. — Она положила куклу ему на ладонь. Кукла была тёплая. — Ты же уедешь скоро. Это дорожная. Чтобы было кому тебя ждать.

Он хотел засмеяться, князь, с тряпичной куклой в руке. И не засмеялся. Спрятал её за пазуху, к самому сердцу, и носил потом всю жизнь, в походах и в тереме, и никто, даже княгиня, не знал, что у него там.

Она была сурова, насмешлива и нетерпелива. Она звала его «княже» так, что лучше бы обругала. Она спорила с ним обо всём: о дани, о богах, о греческом Боге, которого не боялась и над которым не смеялась. Она спала на лавке у его изголовья, пока он болел, и перестала, стоило ему встать. А однажды вечером, когда он сказал, что всё это, конечно, травы, а не чары, она вдруг засмеялась.

Он впервые слышал, как она смеётся. Смех у неё оказался низкий, грудной, совсем не такой, какого он ждал от этих строгих губ, и он слушал его, забыв, о чём спорили, и думал: «Вот оно. Ни туман, ни пыль, ни стрела меня не взяли. А это взяло». И понял, что проиграл войну с Мартаяром в третий раз и теперь уже насовсем.

В тот вечер пошёл первый снег. Он падал медленно, крупными хлопьями, на чёрные огороды, на замшелые крыши, на её тёмную косу, и не таял. Мстивой смотрел, как снег ложится ей на волосы, и думал, что вот так, наверное, и седеют: не вдруг, а по снежинке.

А на другой день, когда снег сошёл, она впервые повела его в лес.

Он шёл ещё тяжело, опираясь на палку, и она не подавала ему руки, потому что знала: не возьмёт. Тропа шла между старыми орешниками, по мокрому бурому листу, и в лесу пахло грибной сыростью и первым холодом. И лесные жители один за другим выходили к ним из чащи, будто давно её ждали и узнали издалека.

Сначала белка. Она сбежала по стволу осины вниз головой, остановилась, цокнула, прыгнула Дарине на плечо и уселась там, как на суку, распушив рыжий хвост у неё под щекой. Потом вторая. Дарина достала из рукава лесных орехов, и белки брали их у неё с ладони, держа в передних лапках, как дети держат пряник. Синицы перепархивали с ветки на ветку рядом с ними и не отставали. На поляне подняла голову лосиха, посмотрела на них и снова принялась за иву. А когда Мстивой оглянулся, за ними по тропе, шагах в десяти, шла лисица. Шла тихо,

подобрав хвост, ставя лапки след в след за Дариной, и останавливалась, когда останавливались они, и садилась, и ждала, как ждёт собака хозяйку.

— Они всегда так? — спросил он шёпотом, чтобы не спугнуть.

— Всегда. Они думают, что я тоже лес. — Она помолчала. — Раньше думали.

Он не понял, что значит «раньше», и не стал спрашивать. Он смотрел на неё. На холоде она румянилась, и румянец держался всё дольше, пока не перестал сходить вовсе, и она вся, с глазами, с губами, с тёмной косой, налилась тихим светом, как наливается раннее яблоко, когда на свет видны зёрна. «Да что же это с ней? — думал Мстивой, глядя, как она смеётся, запрокинув голову, а белка на её плече сердито цокает и цепляется коготками за платок. — Ведь та, с вёдрами, была суровая, тёмная, чужая. А эта… эта моя». И сам испугался этого слова, потому что знал, что это неправда. А она и не замечала, как теперь по утрам слушает его шаги на крыльце: так ждут первого снега, сердцем и всей кожей.

Они ходили в лес каждый день. К ручью, где вода была такая прозрачная, что на дне было видно каждую песчинку. К старой рябине на опушке, прихваченной морозом, и она обрывала грозди и кормила его с рук, по ягодке, как птицу. К болоту, где в сухом мху краснела клюква, и они собирали её в одну горсть, и пальцы их встречались. Она рассказывала ему, как зовут каждую траву, и не так, как зовут её люди, а как она сама себя зовёт. Он рассказывал ей про степь, про море, которое видел однажды мальчишкой, про царьградские церкви с золотыми головами, про которые ему рассказывал грек. Она слушала, как слушают сказку.

И вот тогда, на одной из этих троп, глядя, как белка сидит у неё на плече и трогает лапкой её волосы, а лисица ждёт на тропе, Мстивой почувствовал, как у него плавится сердце. Плавится, как воск у огня, как то олово в глиняной ложке, и внутри стало сладко, густо и тепло, словно кто-то налил ему в грудь свежего мёду. И в тот же миг, из того же места, поднялась тоска, такая, что захотелось сесть на землю.

Потому что он понял. Всё в его земле можно было взять: город мечом, дань силой, девушку венцом и веном. А её нельзя. Она была как эта лисица на тропе, как ветер в вершинах, как ручей. Идёт рядом, пока сама хочет. Она была с ним и не его. И никогда не будет ни его, ни чьей. Никому и никогда. И от этого мёд в груди стал слаще и горше разом, как становится слаще и горше рябина после мороза.

Вечерами, когда они возвращались из леса, она не отпускала его в гостевую избу, а сажала у себя и давала работу. «Князю без дела вредно, — говорила она. — От безделья мысли киснут». В избе было жарко и сумрачно, пахло дымом, сушёной мятой и кислой закваской, под потолком на жердях висели пучки трав и связки лука, а в углу на лавке стояла квашня, накрытая холстиной, и тесто в ней дышало, поднималось и тихо опадало, будто под холстиной спал кто-то живой.

— Мой руки, — сказала она однажды и поставила квашню перед ним. — Будешь хлеб ставить.

— Я? — Он засмеялся. — Я князь.

— Вот и поглядим, какой ты князь. Хлеб про человека всё скажет.

Он месил неумело и тяжело, словно ломал противника, и тесто липло к пальцам и не давалось. Дарина стояла рядом, с засученными рукавами, белая от муки до локтей, и смеялась над ним, и с каждым его промахом щёки у неё разгорались всё ярче, пока не стали алыми, как бок яблока, долго провисевшего на солнце. Потом она взяла его руки в свои, прямо в тесте, и стала водить ими: от себя, к себе, сложить, повернуть.

— Не дави. Ты его не воюешь. Ты его просишь.

«Её руки, — думал он и уже не слышал, что она говорит. — Ни одна сеча не сжимала мне так сердца, как эти руки в муке».

— Хлеб, каша, кисель, всё, что ты делаешь руками, — говорила она, — берёт то, что у тебя на сердце. Тесто больше всего. Оно живое, оно слушает. С добрым словом поставишь, и

хлеб выйдет добрый, всякого, кто съест, утешит. В еду можно вложить, чтобы человек выздоровел. Чтобы полюбил. Чтобы домой вернулся. А если стоять у печи с тяжёлой думой, со злобой, с обидой, то можно и отравить. Без всякой травы. Потому у нас бабы, когда поссорятся, к квашне не подходят.

— Бабьи сказки, — сказал он.

Дарина не обиделась. Она только посмотрела на него, чуть прищурясь, и в избе сгустился воздух, только в печи с шорохом осыпалось прогоревшее полено. Потом отломила от вчерашнего каравая корочку, поднесла её к губам и зашептала. Он не разобрал ни слова. Он видел только, как темнеет её лицо, будто на него набежала туча, и как гаснет румянец, медленно, начиная со скул.

Под лавкой, у кадки с зерном, давно жила мышь. Мстивой не раз видел, как она выбегает по вечерам подбирать крошки, серая, с глазами-бусинками, и Дарина её не гоняла. Мышь и теперь вышла, как на зов, села столбиком и повела носом. Дарина положила корочку на пол.

Мышь взяла её в передние лапки и откусила раз, другой. И упала на бок. Лапки дёрнулись и вытянулись. Она лежала на тёмных половицах, крошечная, неподвижная, и хвост её вытянулся сухой травинкой.

Князь видел смерть сотни раз. Он сам её приносил. Но от этой маленькой смерти под лавкой ему стало холодно, холоднее, чем на поле под печенежскими стрелами. «Она только шепнула, — думал он. — Только шепнула. А я всю осень ел из её рук».

Дарина присела, взяла мышь на ладонь и погладила одним пальцем, от носа к хвосту, медленно, три раза, приговаривая что-то уже другим голосом, тёплым, каким говорят с детьми. На третий раз мышь чихнула. Потом встряхнулась, соскочила с ладони и юркнула под лавку, так быстро, что он не успел заметить, куда.

Корочку Дарина бросила в печь. Огонь взял её с треском и пыхнул зелёным.

— Вот, — сказала она. — А ты говоришь, сказки.

И румянец возвращался к ней так же медленно, как ушёл.

Он помолчал. Потом спросил тихо:

— А кисель, которым ты меня поила, когда я лежал…

— С чем я его варила? — Она улыбнулась и снова погрузила его руки в тесто. — С тем, о чём ты сейчас подумал. Меси, княже. Хлеб ждать не любит.

Каравай они посадили в печь поздно, когда за окошком совсем стемнело и над лесом поднялись Стожары. Вышел он кривой, с трещиной на боку, тяжёлый, но пахло от него так, что князь забыл про трещину. Утром Дарина отломила первый кусок и положила за печь. А второй, ещё горячий, протянула ему. И мышь под лавкой, он мог бы поклясться, в то утро завтракала вместе с ними.

В ночь перед отъездом он спросил о ключе, который она носила не на поясе, со всеми, а отдельно, на шее. Дарина помолчала.

— Твоя смерть на поясе, с остальными, — сказала она. — А тут другое. Не спрашивай.

Он не поверил. Но спрашивать не стал.

Он уехал с первой пустой зимней дорогой. И в тот же вечер Дарина впервые в жизни замёрзла.

Румянец сошёл с неё за одну ночь, как сходит с яблока, когда его забыли на морозе. За первый же месяц у глаз легли первые мелкие морщинки, и седая прядь у виска стала шире. Она мёрзла у печи, плохо спала и впервые узнала, что такое длинная зимняя ночь для того, кто ждёт. Каждый вечер, в метель и в мороз, она ходила к расщеплённому дубу и стояла там, пока не стемнеет, слушала дорогу. Белая кобыла стояла рядом и грела ей руки дыханием. Белки всё так же прыгали ей на плечи, но теперь не сразу, а после долгого цоканья, будто переставали её узнавать.

Дуб в ту зиму стоял весь в инее, белый, стеклянный, и когда на него садилась птица, иней сыпался с тонким звоном. Дарина знала каждый его сук, столько вечеров простояла под ним. И всё же однажды увидела то, чего не было: между корнями, из самого снега, торчал крохотный дубок с двумя почками. Зимой так не бывает. Она села на корточки перед ним, приложила ладонь к своему животу и долго сидела так, слушая. А жёлудя, того, что она спрятала осенью за пазуху, она с тех пор так и не нашла.

По вечерам бабы и девки сходились на посиделки в самую большую избу, с прялками, с лучиной, и Дарина впервые в жизни пришла к ним не учить и не лечить, а просто сидеть. Прялки жужжали, лучина потрескивала и роняла угольки в корытце с водой, а за стеной мела метель и гудела в трубе, будто кто-то большой ходил вокруг избы и не находил двери. И бабы пели. Пели старые зимние песни, долгие, тягучие, какие поют, когда мужья в отъезде или в походе, и в каждой было столько тоски, что щемило сердце, и столько силы, что от неё сами собой прямели спины. Начинала одна, самым низким голосом, остальные подхватывали, и песня ходила по избе, как ходит тепло от печи.

Ой ты, вьюга, вьюга, сестрица моя,
не мети пути, не мети дороги:
по той дороге милый мой поедет,
по белому снегу, по холодному льду.
Ой, милый, милый, свет мой ясный,
не дай мне, милый, до весны растаять.

Дарина слушала, опустив веретено. Она слышала эти песни сотню раз и никогда не понимала, о чём они. Теперь понимала каждое слово. «Вот оно что, — думала она. — Они не жалуются. Они держат. Ждут и держат, как земля держит зерно под снегом». А старшая из баб, вдова с дальнего конца, повела дальше, и голос у неё был низкий, ровный и твёрдый, как лёд на реке в самую лютую стужу.

Я жена, я сырая земля:
ждать умею, как земля весну.
Под снегом спит, а не умирает,
подо льдом река, а течёт по-своему.
Придёт милый, растопит мне сердце,
а не придёт, я и сама дождусь.

Когда песня кончилась, Дарина, сама того не заметив, запела её снова, одна, тихо, почти шёпотом. И бабы переглянулись и не стали подхватывать, чтобы не мешать. А метель за стеной вдруг улеглась, и в наступившей тишине стало слышно, как далеко в лесу трещит от мороза дерево, как под чьим-то шагом.

А в самую длинную ночь года, когда солнце поворачивает на лето, по зимнику прискакал один всадник, без дружины, в инее, в сосульках на усах. Он не выдержал. Он пробыл три дня, и все три дня старухи у колодца смотрели на Дарину и покачивали головами: та была снова румяная, гладкая, сияющая, как снег на солнце, и морщинки у глаз исчезли. А когда он уехал, они вернулись все, и ещё одна.

Весна в тот год пришла рано и дружно. Лёд на реке под детинцем тронулся в одну ночь, с грохотом и стоном, и утром вода стояла до самых валов, мутная, быстрая, вся в солнце. Над заливными лугами гоготали гуси. Верба у пристани оделась жёлтым пухом и гудела от пчёл, и в городе пахло талой водой, навозом и почками так, что хотелось смеяться без причины.

А когда сошли воды, из Мартаяра пришла весть, что у ведуньи Дарины будет ребёнок. И Мстивой, который не верил в чары, долго стоял на стене детинца и смотрел в сторону болот, туда, где за синим лесом, за рыжими весенними топями, она сейчас, наверное, стоит у дуба и

слушает дорогу. «Ребёнок, — думал он, и слово это было тёплое и тяжёлое, как хлеб из печи. — Мой. А она — нет. Никогда». И левое плечо у него ныло тихо и сладко, как ныло всегда, когда он думал о ней.

Часть вторая. Расщеплённый дуб



Красная нитка

Мальчик родился в бане, в ночь на Ивана Купалу, когда над рекой горели костры и по воде плыли венки. Повитухой была Белая. Она приняла его, обтёрла, перевернула лицом к огню и долго смотрела ему в глаза, серые, светлые. Мальчик не плакал. Он смотрел в ответ.

Ночь была самая короткая в году, тёплая и светлая. Заря не гасла совсем, а только отходила к полуночи, за лес, и стояла там бледной зелёной полосой, пока с другой стороны не начинала заниматься новая. Пахло цветущей липой и дымом костров. В росистой траве за баней скрипел коростель, сухо и упрямо, а в папоротниках зажигались светляки, и старухи говорили, что это не светляки. И когда мальчик открыл глаза, коростель замолчал, замолчал лес, и даже огни венков на реке, показалось Дарине, на миг перестали дрожать.

— В нём зверь, — сказала Белая. — Спит пока.

— Знаю, — сказала Дарина с полка. — Я его чуяла всю зиму.

Зверь был от того же, откуда сам мальчик. От крови ведуньи, в которой лес и ночь, и от крови князя, в которой железо и власть. А ещё от той смерти, которую князь носил в плече и которая прошла через сердце Дарины. Такой зверь не уйдёт ни в олово, ни в землю. Его можно только усыпить.

Дарина сняла с шеи свой ключ, тот, с кольцом в виде сердца, и продела в него красную шерстяную нитку. Ключ был тёплый. Он всегда был тёплый, даже в мороз.

— Это же сердце твоё, — сказала Белая. — Отдашь, сама без него останешься.

— Пусть. Сердце сильнее зверя. Сердце его удержит.

Она завязала нитку на шее сына тремя узлами, и мальчик закрыл глаза и уснул. А во дворе вздохнула и тихо переступила с ноги на ногу белая кобыла.

Назвали его Всеславом. Так велел князь, который приехал на третий день, один, без дружины, и впервые проехал расщеплённый дуб без тумана и без пыли. А в Мартаяре мальчика с первого же года звали Волхом. За глаза. И за то, что собаки при нём ложились на брюхо.

Он гнал коня так, что тот в мыле влетел в лес. У дуба конь сам перешёл на шаг, и Мстивой не стал его подгонять. Дуб стоял в полном летнем листе, густом, светлом, и даже сухая половина, голая столько лет, выпустила на конце одной ветки пучок молодых листьев. А в развилке, там, где ствол расходился надвое, сидела белка. И рядом с ней, вцепившись в кору всеми четырьмя лапами, сидел бельчонок, маленький, светлый, почти белый, с непропорционально большим хвостом. Белка не убежала. Она смотрела на князя сверху чёрным блестящим глазом, строго и с насмешкой, и прижимала к себе бельчонка хвостом. А бельчонок смотрел на князя со всем любопытством мира и вдруг полез кувырком вниз, к нему, пока мать не цокнула и не утащила его за шкирку обратно, в дупло. Мстивой, который спешил два дня и две ночи, стоял под дубом и смеялся один, вслух, как дурак. Он ещё не видел сына. Но уже знал, какой он.

Три лета Мстивой ездил в Мартаяр, как ездят к роднику в жару: украдкой от княжества, на неделю, на две, сколько удавалось украсть у дел. И каждый раз, едва он показывался у дуба, Дарина молодела на глазах. Щёки её наливались румянцем, губы алели, седина у виска гасла, словно уходила вглубь косы, и к концу недели она снова была той девушкой с вёдрами. А потом он уезжал, и на следующее лето встречал у дуба женщину на год старше. Нет, на два. На три.

Во второе лето они сидели под дубом до самой зари. Ночь стояла светлая, короткая, июньская: заря не гасла, а только переходила по краю неба с заката на восход, над лугом стоял запах цветущего донника, и в мокрой траве без устали скрипел коростель, будто кто-то водил ногтем по гребню.

— Откуда вы взялись? — спросил он. — Попы говорят, ведьмы от беса.

— Ведьма от «ведать», — сказала Дарина. — От «знать». Бес тут ни при чём. Бес ничего не знает, он только хочет. — Она сорвала травинку и покатала её в пальцах. — Бабка моя рас-

сказывала так. Давно, когда людей было мало, все умели слушать. Слушали, как растёт трава, о чём думает зверь, когда придёт дождь. А потом стали ставить города, обнесли их валами и стали слушать только друг друга. И земле стало не с кем говорить. Тогда она выбрала несколько девок, которые ещё не разучились, и сказала: живите у меня на краю, за болотами, и слушайте за всех. А я вам за это дам время. Сколько ни живите, не состаритесь, пока сами не захотите.

— Почему только девок?

— Потому что вы слушаете, чтобы ответить, — сказала она без улыбки. — А мы, чтобы услышать.

Он засмеялся, и она тоже. С дуба сорвалась сонная птица, перелетела на орешник и там возмущённо пискнула.

— А силу вашу что отнимает? Ты говорила, ведуньи теряют силу.

— Злость. Злость глушит. Кто злится, тот слышит только себя, как в пустом колодце. А земля с такими не разговаривает.

— А время? Ты сказала: пока сами не захотите. Кто же захочет стареть?

Дарина молчала. Заря уже перешла на восток, и над болотами проступила тонкая розовая полоса, и в ней растаяли Стожары.

— Кто полюбит, — сказала она наконец. — Любовь, княже, это и есть захотеть времени. Захотеть, чтобы было «до» и «после». Чтобы было чего ждать. Тот, кто живёт вне времени, никого не ждёт.

Мстивой смотрел на неё, на седую прядь у виска, на тонкие морщинки у глаз, которых прошлым летом ещё не было, и ничего не сказал. «Вот оно что, — думал он, и ему было и страшно, и так счастливо, как не бывало ни в одной битве. — Она меня ждёт».

— Ты стареешь из-за меня, — сказал он в третье лето. Это был не вопрос.

— Я живу из-за тебя, — сказала она. — Раньше не жила. Раньше просто была.

— Так поедем со мной. Будешь рядом, не будешь стареть. Возьму тебя княгиней. Против всех бояр возьму, против попов, против всей земли.

Она положила ему ладонь на левое плечо, туда, где была стрела.

— Меня нельзя взять, княже. Ни в жёны, ни в дань. В городе я зачахну за год, как река в бочке. Ты меня любишь, так люби такой, какая есть.

Они сидели под дубом до самой темноты. Он не кричал и не требовал, как требовал бы с любого другого, и она была ему за это благодарна больше, чем за все его подарки. Внизу, у ручья, перекликались кулики, с луга поднимался туман, белый и мягкий, и ложился на траву, как ложится на спящего ребёнка тёплое одеяло. С дуба сорвался жёлудь, зелёный, недозрелый, и упал ей в подол.

— Тогда отдай мне сына, — сказал он наконец, тихо. — Не для себя прошу. Для земли. Пусть растёт в моём доме, учится держать меч и суд и княжит после меня. Ты научила его слушать лес. Я научу его держать людей.

Дарина не отвечала. «Отдать, — думала она, перекатывая в пальцах зелёный жёлудь. — Отдать своё сердце в чужой каменный дом, к чужим нянькам, к чужим богам. А не отдам, вырастет при мне, здесь, и станет ни людям, ни лесу. Княжий сын должен быть княжьим». И было ещё одно, чего она не сказала бы никому. Прошлой ночью, слушая землю у колодца, она услышала с полудня, из-за реки, далёкий топот, тяжёлый, без конца, и поняла, что это идёт степь, не нынче, а через много лет. И земля, которая сама себя держит, уже выбирала, кем её встретить. «Земле нужен будет волк», — подумала Дарина и сама испугалась этой мысли. И ей стало так больно, что она закрыла глаза.

— Бери, — сказала она. — Он и твой, и мой, но княжить ему, не ведовать. Он сам это знает. Только одного прошу: ключ с него не снимай. Никогда. И никому не давай снять.

— Сниму только вместе с головой, — сказал Мстивой. — А ты? Ты будешь к нему приезжать?

— Он будет ко мне приезжать. Каждое лето. А ты привози его до дуба. Дальше не надо.

Он посмотрел на неё так, будто она снова пустила в него стрелу.

— Почему?

— Потому что я больше не могу, княже. — Голос у неё был ровный, только пальцы сжимали жёлудь до белизны. — Всякий раз, как ты уезжаешь, я умираю понемногу. А мне надо дожить, пока он вырастет. И тебе надо жениться. Княжеству нужна княгиня, и законные дети, и тихий терем. Не смотри так. Это не измена, если я сама тебя отпускаю. Измена, это когда держат и обманывают. А я тебя не держу. Я тебя отпускаю.

Он хотел сказать, что не женится никогда, ни на ком, что ему не нужна никакая другая. И промолчал. Он был князь и знал, что она права. И от этой правоты было горько, как бывает горько одно только чистое лекарство, без мёда.

Осенью Мстивой справил сыну постриги, как справляют княжичам: остриг прядь светлых волос и посадил на коня. И после постригов забрал в город.

Пир на постригах был такой, о каком в городе потом говорили долго. Столы стояли во всю гридницу и выходили во двор. На них были осетры с реки, целиком, на липовых досках, лебеди, гуси, дичина, печёная и варёная, горы ржаных хлебов, миски с кашей, политой мёдом, корчаги с пивом и мёдом. Дружина ела серебряными ложками: ещё старый князь, когда дружинники стали роптать, что им зазорно хлебать деревянными, велел сковать им серебряные. Всеслав сидел рядом с отцом, на высокой лавке, в новой рубахе, и ничего не ел. Он держал в кулаке ключ на красной нитке и смотрел в окно, туда, где за рекой были болота и где сейчас, наверно, мать ставила в печь горшок с кашей на одного.

В ту же зиму, после постригов, Мстивой женился. Взял, как советовали бояре, дочь соседнего князя, тихую, белолицую, с мягкими руками, и она родила ему двоих сыновей, одного за другим, и в тереме стало шумно от детских голосов. Он был с ней добр. И она его, может быть, даже любила. Но по ночам, когда княгиня засыпала, он иногда выходил на гульбище и подолгу стоял там без шапки, глядя туда, где за рекой, за синим лесом, были болота.

Мстивой в чары не верил. Но когда няньки в тереме попробовали было снять с княжича ведьмину побрякушку и надеть вместо неё греческий крестик, он на них так крикнул, что их потом неделю не было видно.

— Мать повесила, — сказал он. — Пусть висит.

Это было единственное, в чём он уступил Мартаяру.

Всеслав рос тихим. Он мало играл с боярскими детьми, которые дразнили его ведьминым сыном, только шёпотом, чтобы не услышал князь, и подолгу сидел у окна, глядя в сторону болот. Когда ему бывало страшно, в грозу, ночью или когда отец приводил во двор пленных со связанными руками, он сжимал в кулачке тёплый ключ и думал: «Мама. Мама там. Она знает, что мне страшно». И страх уходил, медленно, так уходит из избы ночной холод, когда затопят печь.

Из окна терема болот видно не было. Было видно реку, торг, крыши посада и дальний синий лес. Но Всеслав знал, где они, как птица знает, где юг. Осенью, когда с полуночи тянули гуси, он выбегал на гульбище и смотрел им вслед, пока няньки не уводили его за руку. А весной, когда на реке ломался лёд, он плакал во сне и наутро не мог сказать о чём.

А Дарина в первое же лето после постригов не пошла к дубу встречать сына. Она отправила Милушу. И старухи у колодца видели, как она стоит у плетня, сухая, седая, словно осенняя трава под первым инеем, и слушает дорогу, по которой никто к ней не едет. Старухи качали головами и молчали. Они знали, что это такое. Они сами так стояли.

Каждое лето его отвозили в Мартаяр, а осенью забирали, сперва сам князь, а потом, когда мальчик подрос, Ратибор. Дальше расщеплённого дуба князь больше не ехал. Он стоял под дубом, держа коня в поводу, пока светлая голова сына не скрывалась за поворотом тропы, и

знал, что там, за поворотом, её ждёт она. Три года он её не видел. А мальчик, возвращаясь, рассказывал, что у мамы опять стало больше седины у виска.

Однажды, в седьмое лето сына, Мстивой задержался у дуба дольше обычного. От дуба была видна крайняя изба, и у неё на бревне сидел его мальчик, босой, в длинной рубашонке, и чертил палочкой в пыли круги. На красной нитке у него на шее висел ключ. И князь вдруг вспомнил тот пыльный, мёртвый день, второй поход на Мартаяр, и светловолосого мальчишку на этом самом бревне, с его глазами, которого тогда ещё не было на свете. «Я его видел, — думал он, и по спине у него прошёл холод. — До того, как он родился. Значит, уже тогда всё было решено, и не мной». Он развернул коня и ехал шагом и ни разу не обернулся.

В Мартаяре он становился другим. Он пропадал в лесу с утра до ночи, и лес его не трогал: пчёлы не жалили, гадюки уползали с тропы, и ни разу он не заблудился. Он знал, где у ручья живёт выдра, где лиса прячет лисят, в каком дупле сидит днём сова. Белая кобыла выходила встречать его к околице. А вечером он ложился на землю в роще, между корнями, и слушал. Дарина спрашивала: что слышишь? И он отвечал: всё.



Твердята

Медведь пришёл к нему, когда ему было семь лет.

Он собирал малину за Гнилым ручьём, один, в зарослях под старой гарью, где малина росла выше его головы, и ягоды в ту пору были такие спелые, что падали в ладонь сами, стоило тронуть ветку. Он собирал и ел, ел и собирал, и руки у него были красные до локтей, и рот красный, и в туеске было едва полдна. И вдруг за кустами кто-то так же, как он, зачавкал. Шумно, сопя, с причмокиванием. Мальчик раздвинул ветки и увидел медведя.

Медведь был старый, рыжеватый, с сединой на холке, и сидел в малине, как сидят люди, на заду, и обеими лапами пригибал к себе куст, и обсасывал, жмурясь. Он увидел мальчика. Мальчик увидел его. И оба сидели и смотрели, и с обоих капал малиновый сок. Потом медведь фыркнул, встал на четыре лапы, подошёл и обнюхал его. Тепло от него шло, как от печи, и пахло лесом, муравьём, мокрой шерстью. Обнюхал волосы, ухо, ладони, зализанные малиной. И лизнул. Один раз, шершаво, горячо, от подбородка до лба.

И ушёл.

Мальчик пришёл домой с полупустым туеском и рассказал отцу. Горазд, седой уже с пятнадцати лет, с того самого мора, положил молот, вытер руки о кожаный фартук, взял сына за подбородок и долго разглядывал его лицо. А потом сказал одно:

— Признал тебя, значит.

И с того лета Твердята стал расти. Не так, как растут мальчишки, по вершку в год, а так, как растёт молодой дуб на просторе: вширь, вглубь, в корень. К десяти годам он поднимал кувалду, которую взрослый мужик держал двумя руками. К двенадцати вытащил из грязи гружёную телегу, когда лошадь стала и не шла. К пятнадцати у него была борода, рыжая, густая, и голос, от которого в кузнице позванивали клещи на стене.

И все его боялись.

Не потому, что он был злой. Он не был злой. Он сажал себе на плечо девчонок, чтобы те достали качели, и чинил вдовам серпы за спасибо, и ни разу не поднял руки на человека. Но в нём жило что-то. Это чуяли собаки, и поджимали хвосты. Чуяли кони, и вставали перед ним смирно, как перед хозяином, даже чужие. Чуяли девки, и смолкали, когда он проходил мимо хоровода, и расступались. А старухи смотрели на него и переглядывались. «Хозяин в нём, — говорили они между собой. — Лесной. Тот, что мёд ведает». Медведя вслух по имени в Мартаяре не называли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.